

АЛЕКСЕЙ ВУЛЬФОВ



ПОД МУЗЫКУ ГАВРИЛИНСКИХ ПЕРЕЗВОНОВ

РАССКАЗ

Сегодня вечером шел пешком с теплохода из Чернопеня в Асташево по старой костромской дороге. Пока не построили в 1985-м году асфальтовую на Сухоногово, эта дорога шла из наших деревень просторными полями в Кострому, тянулась вдоль Волги от Густомесово через Кузьминку, Лыщёво, Свотиново, Ильинское. Хорошо помню вдоль нее смоленные телеграфные столбы и ряд натянутых проводов, пока воздушную линию не разобрали. Удивлялся — почему такие капитальные столбы поставлены вдоль простой проселочной дороги, экая роскошь — а потом мне рассказали старики, что это, оказывается, раньше был старый тракт на Кострому.

Вечером шел немислимо, прямо-таки избыточно погожим днём, с небом и закатом бесконечным, с лебедиными стаями дебелих облаков и обильными дымами предгрозовых сумерек, по теплой пыли сквозь запах поля и пыли, сквозь липкий воздух травяной и ветренный, всклубливал пыль ботинками. Не шел я, а летел — душа летела в просторе этом, словно в райском царстве, всюду безо всякой меры чистотою полнился простор и прямо-таки поил, будто неизреченными потоками какими-то, полевым и небесным воздухом, который как незримая целящая сила касается дыхания и стремится к

ВУЛЬФОВ Алексей Борисович родился в Москве в 1963 году. В 1988 году окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1989—1992 годах работал в Союзе композиторов СССР с Г. В. Свиридовым и Б. А. Чайковским, один из организаторов первого Фестиваля отечественной хоровой музыки. Составитель сборника “Георгий Свиридов в воспоминаниях современников” (“Молодая гвардия”, 2006), автор книг “Теперь лишь вспоминать” и “Повседневная жизнь российских железных дорог”. Живёт в Москве.

жизни, к радостному свету, в жизнь грядущую, а если и в прошедшее — так в некое пережитое счастье. Кланялись, как дети, клевера, добрыми волнами океаническими вставали полевые кручи на холмах, и всюду, всюду вдали и впереди виднелись рощи березовые — нестареющие девушки природы! И дорога эта, теперь почти неезженная, нетоптаная, гладкая, хотя и по-прежнему горделиво-вмятая, так нужна здесь, в этом отшельном от людей, от деревень просторном царстве, такая память от нее и восстающий голос жизни — былой, да, былой — но целы же покуда колени!..

Шел я, глядел вперед, словно капитан корабля, в море этих полей да холмов, дальних рощ и буераков, да тихих крыш попутной деревни Погорелки — и вдруг... вдруг... вижу... батюшки! Натянулись провода вдоль дороги, вскочили и в ряд выстроились столбы! Мне говорили старики, что линию тут телефонную проложили в 1958-м году, натянули в полях сверкающие медные струны, один их знакомый связист прокладывал эту линию. И травы такие — тугие, сверкающие вдруг крутом стали, небывалым лоском блестят, и цветики в них зацвели — да ясно, жгуче как, и воздух стал вдруг еще чище, — и вижу вдруг я — подводы идут в мою сторону от лыщевской рощи, от дальних берез! Бегут лошадки в ряд, головами кивают! И вот я вижу — едут, едут ожившие, из небытия нашего кузьминского кладбища восставшие, вот они все — живые предо мной! Едут прямо на меня — и столько деток на краях подвод, как на картинах Ефима Честнякова, и мужики в ватниках да кепках, и молодые парни с вихрами, в распахнутых рубахах, и белые девки, и бабы в платках — едут и о чем-то разгоряченно толкуют, и отирают пот со лбов тяжелыми кистями! Впереди председатель — строгий, словно из скалы вырубленный, в кепке, с кожаной командирской сумкой, что с войны он привез, в кулак намертво собравший вожжи, и мужику какому-то, внимающему сурово, и громко что-то так толкует, и пальцем тычет, и уж слышу — кричит: “А эту из колхоза уволить! У ней не телята, а одни свиданья на уме! И мамаша еённая точно такая же — прямая курва! Всё — уволить!” А тот ему кивает и кивает, карасиными глазами в глаза глядит, трепещет мелкой бородкой и хитрой кудрью. Едут, едут — всё ближе, ближе, и уже видать — до чего ж красив председатель, в самой силе мужик, — не из древних ли волжских разбойников он породой, что через окна изб одним махом рук выкрадывали невест и бросали поперек коня; до чего же ладен он и складен, хотя и прост, как злак этого самого поля, как вздернутый полевой куст, как мускул молодой сосны или ели, что в войну здесь все срубили и в город отправили на дрова. Тёмно-загорелый он, сердит и велик, эта кипящая личность, и глаза его созидающим кузнечным огнем горят. А дети глядят друг на друга, как святые на фресках в церкви нашей, и непорочны, и свято просты эти дети, они из Евангелия, а не школьники из окрестных, на всю округу тогда еще мычащих, кукарекающих, ржущих и гремящих ведрами деревень. И бабы молодые едут, разному личному лыбятся-жмуруются, смеются вешнему расцвету своему, как солнцу, и женихи вскидывают вихры, задирают девок щипком или взглядом, и тяжелые, уже мужицкие руки кладут другу на плечо, говоря с товарищем, а которые влюблены — опускают локти на колена и бритые подбородки на кулаки, и думают, и глядят долу, и клевер жуют, горюя и томясь сладко, и бабкину протяжную песню сквозь зубы мычат, что вспоминают из неё. Свежим сеном пахнет с телег, мужики вскрикивают, хохочут о чем-то своем, степенно и командирски рассматривают на парней, а на девок глядеть толку нет — чем их проймешь, визг один от них и синичий щебет, и всполохи голубизны из-под бровей, и полыханье челок под солнцем. Едут, едут навстречу, из самой высоты трав восстают — и никак не приблизятся ко мне, хоть и вижу я уже домотканые их рубахи, сельповские пиджаки и кепки, и трепещущие косынки девичьи, и крепкие серьезные лица, и волосы русые, и сапоги, и слышу гром телег, долбящих по кочкам, и дыханья и всхрапы лошадей, и говор человеческий громкий, оживленный — только никак не разобрать мне, что говорят! И веселит ноздри пахучей смоляной столбов телеграфной линии — сверкают поверху свежей медью только что натянутые провода цивилизации, от которой столько ждут они, которая такой представляется им успешной, важной и всё даю-

щей, такой шикарной и городской, и так они хотят поскорее попасть в нее, уже зная про первый спутник, уже имея в каждой избе висящее радио на гвоздике, вбитом в дедовские обои в лазоревый цветок, и электролампу, под светом которой дети старательно сопят все за одним столом, делая уроки, осторожно тыкают перышком, выводят и притрагиваются промокательной, боясь завтра предстать перед Анной Николаевной с несделанным домашним заданием по математике...

При мне снесли эту линию, я видел обломки столбов, а теперь и их уже не разглядел в дикой высоте клеверов и травы.

Ах, как хорошо мне было идти здесь, в этом целительном, словно неземном вакууме всеместной чистоты и простора, под этим бескрайним покрывалом неба, под этими густыми клубами и дальними горами облаков, в липкости живительной воздуха этого, в добром и покойном золотом свете сумерек, в первых прохладных обветриваниях грядущей из простора ночи. Опять пустая передо мной тянется старая дорога, две земляные колеи. Нет, нет, не всё прошло ещё, не ушло виденье! Нет, конечно же — вот они, идут одни, во блаженстве тонут в счастливо дальнем и пустом, как бескрайнее одеяло сокрывающем и ласкающем просторе — он и она, Адам и Ева: в рубашке белой и штанах широких с мелким ремешком, в деревенских ботах Адам, и в ситцевом платочке с узором в одинаковый стройный цветочек, в летящих босоножках Ева — ну и молодцы! И так всё радо им — и цветы в глаза смеются счастливо, и иван-чай приветливо кивает, как положительный театральный персонаж, и небо звенит и во весь голос поет, и пчелы, и стрекозы такие пируэты выделывают, как циркачи, и свежи, так свежи вдали березы, и так сами они, Адам и Ева, похожи на их струящуюся листву, и пыль у них такая под ногами нежная и чистая, как детская совесть, и такими озорными клубинками пыхает под ее босоножками каждый шаг! А волосы ее потоком по недорогому мамкиному платьицу опадают, как струи фонтана, и ждущей томностью полно приоткрытое плечико под съехавшим ситцем. А он — широк в плечах, складен в руках, крепок в шагах, прическу его “фокстрот” (в город ездил!), как знамя, раздувает на ветру, и глаза такие ясно-брызжущие влюбленной страстью, как ограненные драгоценные камни. Идут этой дорогой и болтают какую-то тающую в любви чепуху, какую-то простодушную игру ведут, пустякам смеются, как дети, утопая всем существом в таком, что и небо, и даль, и траву, и само солнце застилает, поглощает собой, утопляет червонным сгустком молодой силы, душевном биении. А у нее руки так нежно смуглы, и такой на шее невесомый пушок, и такие плечи мягкие да покатые, и так ступает она, шаг выстилает, как царица, и так вздрагивает при этом ее стан... Одни парят в просторе Божьем! Нет-нет — рассмеются, а вот вроде бы и всерьез о чем-то заговорят — да куда ж, когда такие глаза, такие брови, такая молодость, да и день такой над ними чистый да струистый, да жаркий, да как трава-то ярка и цветы, да каким теплым песком дорога под ногами... “Хоть бы он что-нибудь... Хоть до плеча пусть дотронется, хоть ладонь немножко положит... Люблю ведь его, знаю, что люблю... я бы дальше-то... Пусть хоть на шею мне, что ли, подует...” Колосья так и звенят крутом, кажется — в самом небе качаются, ветер по молодым плечам широкой ладонью водит, мамкино платьице волнуется, и вдруг Волга внизу с горки показалась — и тоже улыбается им, как строгая, но добрая учительница, и разрешающим наставленьем горящим недвижное серебро свое кажет из-под косога. И вдруг дотронулся он — взялся ладошкой за ладошку, и такая ладошка у него родная, обнимающая, словно всю жизнь с ним были вместе. Она свою не взяла, оставила, как пулемет ударило сердце, — и немного еще какие-то слова говорили они, шли, брели этой самой дорогой, пока, наконец, изнемогая от любви, счастья, страха и невообразимо сладких томящих мук, не сошли неизвестно почему с пыльных изъезженных колеи, не побрели по клеверу, не бросилась она к нему всей силой, всем своим доверчивым счастьем, не обнялись осторожно, впервые постигая тело и запах друг друга, и, охваченные первобытной дрожью, не опустили, наконец, в траву, — а с Волги во всё горло гудит в их честь пароход “Крестьянка”! — новую завязь возвещает, и крылья белые в горней вышине помахали, и гря-

нуло на небесах: “Молодцы, молодцы! Правильно! Сказал Господь: плодитесь и размножайтесь! Да будет вам подмогою всё вокруг — и край этот ваш ангелом летящий, и небо без берегов, и парное молоко вашей молодости, и пусть каждый цветок глядит вам в глаза, как добрый человек!”

Свадьбу-то скоро сыграли; быстро понадобилось. Она косу с назиданием сплела в тугой колос, руки крепко скрестила, молодую грудь ими тесня, брови по-офицерски нахмурила, дерзко глядит через плечо — такая строптивая стать, так ладно домашним халатом чресла обтянуты, как статуя стоит в деревенских тапках — и всем теткам, бабкам да мамкам с молодой девичьей грозой, с ураганом, с древней разбойничьей песней в голосе, сверкая серыми глазами: “Иду за него! А коль вы поперек полезете с советами да запретами — до сведения довожу: много на Волге омутов да ям, хватит на рост мой девичий. А для диспутов ваших у меня досугу нет. И комсомол не поможет! Сказала — иду. Всё!” Отец повздыхал — да что в таком случае поделает отец... Сидит у печки на корточках, топориком мечет щепу, только матерится потихоньку и психует. Не пороть же ее — взрослая стала, стыдно. Задница-то вон какая тугая — как у бабы.

Они и теперь, когда приедут к ним из города внуки и спросят, как проехать на велосипедах в Чернопенье, укажут пальцем за рошу на эту дорогу и скажут беззубыми ртами: “Так колеями и ежайте, приведут. Вот этой самой дорожкой — на которой мы с Адамом когда-то любовь крутили”. И глаза вновь у них блеснут на секунду — как будто струйками всплеснут родники на здешнем солнышке в заветных ямках.

...Пока шёл колеями — поле-то кончилось, вошёл в Ардулину рошу, откуда спускаться нужно старой тропой, продолжением всё той же дороги, а там меня березки строем обняли, как сестрички, пошумели, прохладу над воротом погоняли, тень щедро набросили, щебечущий шум вечерний, сумрак погожий, вечно девичий, свежий — “да ладно, не плачь; было, пошумело — да ведь было же! Да многое и есть — вот хоть мы все!” И рассмеялись, и я вместе с ними! И так я рад был за Адама и Еву, с такой счастливой и слёзной ясностью узрел их в виденье, словно им родственник, или сам вдруг будто молод и счастлив чему-то.

По этой дороге в то июньское утро мчался одержимый ужасным известием всадник из центральной усадьбы, не видя ни дороги, не неба, ни лесов, ни трав вокруг, возвещая деревням страшную весть, трубя ее встречным, как ангел из Откровения Иоанна Богослова... И многие с песнями на два голоса и рвущей душу гармонью скоро ушли по этим колеям вслед ему навсегда.

По этой дороге столько проехало людей из деревень в город, в Кострому... Торговать, молиться, трудиться и жениться. Подумать — древний вдоль Волги тракт! В телегах, и верхом, и пешком — кто как брели. По этим вот колеям самым, ныне гладким до нежности. Когда все еще были живы! Все еще были живы!!!

А так-то столбы при мне убрали. От них теперь одни обломки в траве едва разглядишь. По колеям проезжают “Жигули” и “Нивы” из Погорелки в магазин в Сухоногово, иногда велосипедист, или кто на мопеде. А так-то ездят все по асфальтовой из поселка и дальше по Волгореченской трассе до города. Там и автобус ходит. А в те-то времена не было шоссе на Волгореченск, потому что самого Волгореченска не было.

А я, счастливый человек, сегодня этой старой дорогой шел один сокровенно темнеющими полями, и вихры густых облаков, лебединые перья, распластавшиеся белоснежные гуси и аисты надо мной из ясного и серебристо-пенного в яркое малиновое и дымное уходили, и бронзово слепящий шарик, пока не утонул во млечно-розовых кучах со вздернутыми, как наставляющий палец, клубами, мне давним, наивысше пронзительным и забытым счастьем в пути досиял.